

ЛИТЕРАТУРНЫЙ НАРРАТИВ В ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ПРАКТИКЕ

Е. К. Созина

ДИСКУРС «СТЕПНЫХ ПЛЕННИКОВ» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА

УДК 821.161.1

ББК 83.3(2=411.2)52

В статье рассматривается эволюция темы «степного пленника» в русской литературе XIX в. — от романтической поэмы и повести 1820–1830-х гг. к прозаическому нарративу второй половины века. Анализируются произведения писателей второго ряда, относимые к массовой разновидности романтизма или к беллетристике. Автор исходит из того, что романтическая поэма в России выполняла важные экстралитературные функции: она была источником информации о неизвестных краях империи, существовала и развивалась в русле «внутренней колонизации» страны (термин А. Эткинды) и поддерживала геополитические интересы империи. В исследовании выделены два ее типа — лирический монолог героя («Каратай» А. Крюкова) и фабульный нарратив с развернутым эпическим сюжетом («Киргизский пленник» П. Кудряшева, «Киргиз» Г. Зелинского и др.). Второй тип поэмы дал начало повести, в жанре которой о «степном пленнике» писали В. Даль, Н. Лесков, И. Железнов, В. Зефирин и др., чьи произведения и стали объектом анализа в статье. Устанавливается двойной характер связи литературы с жизнью: реальные события степного плена становились основой литературного дискурса о пленниках, но уже сложившаяся в беллетристике стандартная схема рассказа и сама популярность этой темы вызвали обращение к ней новых авторов и обуславливали обработку самой темы по заданной массовой модели.

Ключевые слова: *романтическая поэма, беллетристика, жанровые трансформации, стандартизация сюжета, тема, мотив, литературная геополитика*

В статье под дискурсом «степных пленников» понимается тема (или мотив) «степных пленников», выражающаяся в определенной фабуле и дающая начало соответствующим литературным сюжетам.¹ Нас будет интересовать содержание данного дискурса, т. е. функционирование концепта «степные пленники» в литературе, но нельзя не упомянуть о терминологическом плане данного словообраза, широта и разнообразие которого связаны именно с его бытованием в литературе и жизни. Так, кроме темы, мотива и фабулы, вполне позволительно говорить о ситуации пленника, об образе и типе пленника.² Так-

же уточним, что в русской литературе концепт «степной пленник» — это вторичное образование, отпочковавшееся от «пленника кавказского», фабула которого была предложена А. Пушкиным в начале 1820-х гг. Правда сам Пушкин при этом отталкивался от байронических поэм, перерабатывая их в согласии с отечественными реалиями. Популярность разнообразных «пленников» в отечественной литературе на протяжении XIX в., а особенно в его первой половине, связана с рядом обстоятельств как литературного свойства, так и фактуального, т. е. исходящего из самой действительности.

Русская литература первой трети XIX в. характеризуется отчетливой доминантой романтического типа сознания и культуры, причем романтизм на протяжении всего периода менялся и примерно с середины 1820-х гг. вступил в фазу своего поздне-зрелого развития. Именно для литературы этого времени становится актуальным, насыщается символическим и метафизическим смыслами образ

¹ Определений дискурса на сегодняшний день много. Приведем то, что соответствует нашему пониманию: «...дискурс — это совокупность взаимосвязанных текстов. <...> Содержание (тема) дискурса раскрывается не одним отдельным текстом, но интертекстуально, в комплексном взаимодействии многих отдельных текстов» (Чернявская В. Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса: учебное пособие. 2-е изд. М., 2014. С. 112, 115).

² См. об этом: Созина Е. К. Степные пленники. Литературная универсалия и ее фактуальная контекстность в отечест-

венной словесности первой трети XIX века // Кормановские чтения: ст. и материалы межвуз. науч. конф. (Ижевск, апрель 2011). Ижевск, 2011. С. 35–46. Настоящая статья является продолжением указанной.

«пленника»: сам романтический герой предстает как пленник в цепях рока, греховной плоти, неизбывных и необузданных желаний и страстей и т. п. В концепте пленника все эти смыслы «плена» из метафорических обретаются вполне предметное, вещное, даже прагматическое значение. Напомним, что Пушкин, заявивший тему пленника в одно время с В. Жуковским (его перевод «Шильонского узника» Байрона появился в том же 1821 г., что и «Кавказский пленник» Пушкина), имел полное право ощущать себя «невольником», поскольку высылался из Петербурга за свои политические стихи и отправлялся в Крым и на Кавказ по приказу властей. Но Пушкин был и великим «угадчиком» и «заявителем» сюжетов, важных для развития русского национального самосознания. Фактически все его романтические поэмы первой половины 1820-х гг. — от «Кавказского пленника» до «Цыган» — были посвящены проблемам взаимоотношения России с колонизируемыми народами, в них ставился вопрос о выборе дальнейшего пути страной и отдельным человеком, прямо связанный с проблемой свободы, остро важной для романтиков: свобода как бездумная и бездомная воля (воля неизбежно эгоистичная, «для себя») или свобода как осознанное движение к намеченной цели, которая, как и в первом случае, подчас оборачивалась для личности несвободой, но уже, по крайней мере, с учетом воли «другого». Осознать необходимость и неизбежность ограничений свободы как воли и противостояние последней цивилизации, а также понять реальную, неметафорическую стеснительность плена, т. е. жизни под давлением чужой воли, — всему этому русские поэты и читатели учились через сюжетику романтической поэмы.

Актуальность романтической поэмы в России 1820–1830-х гг. принято связывать с политическим режимом, принявшим после 1825 г. иной формат, более жесткий и «русский». Однако не менее, а, возможно, более важными являются «внетекстовые» факторы иного рода, обусловившие злободневность романтической поэмы, рассказывающей именно о пленниках. В. М. Жирмунский отмечал, что вслед за «эпидемическим увлечением» Кавказом «как экзотической литературной темой» в позднепушкинскую эпоху появляются поэмы, авторы которых «вслед за Пушкиным отправляются самостоятельно на поиски живописных тем и восточной экзотики в пределах европейской и азиатской России. С одной сто-

роны, Россия степных кочевников, связанная с мусульманским Востоком, с другой стороны, казачество — вот излюбленные источники вдохновения русских романтиков».³ Иначе говоря, русская романтическая поэма активно выполняла экстралитературные функции: она становилась источником информации о неведомых краях империи, существовала и развивалась в русле «внутренней колонизации», как сказал бы А. Эткинд.⁴ Педалируя ситуацию пленника, попавшего к «неверным», и тех страданий, которые выпадают на его долю, она пробуждала патриотические чувства и «работала» как на формирование национальной идентичности, так и на геополитические интересы России. Понятно, что романтики открывали «русский Кавказ», «русский Восток» и «русскую Азию», поэтому в воссозданных Жирмунским стандартных ходах сюжета о пленнике просматривается общая схема европейского Востока, введенная Байроном и полувыведенная классическую ориенталистскую идентификацию, описанную Э. Саидом.

Чаще всего тему «пленников» осваивали поэты среднего дарования, произведения которых занимали страницы периодических изданий и составляли «накопительную» основу литературного процесса. Эта тема пережила эпоху романтизма и осталась в русской литературе и в XIX, и в XX вв., потому что продолжала существовать в жизни. Но «пленник кавказский» в середине и второй половине XIX в. был, пожалуй, уже не столь актуален, как «пленник степной» (несмотря на появление рассказа Л. Толстого «Кавказский пленник» в 1872 г.), да и по времени возникновения в реальности и литературе «степные пленники» опережают «кавказских». На протяжении XVIII–XIX вв. вся южная граница империи находилась в постоянном движении, и параллельно с попыткой обуздать Кавказ шли беспрерывные военные операции по подчинению кочевых народов Средней Азии, завершившиеся образованием в 1886 г. Туркестанского края.⁵ В силу непрекращающегося состояния «не мира и не войны» азиатских народов с Россией степняки брали русских в плен особенно охотно, и достоверные рассказы людей, чаще всего казаков или солдат о пленении

³ Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. Л., 1978. С. 294.

⁴ См.: Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. 2-е изд. М., 2014.

⁵ См.: Россия и степной мир Евразии: очерки. СПб., 2006. С. 348–357.

довольно рано становятся достоянием литературы — с конца XVIII в. Во всяком случае, в 1786 г. в Петербурге была издана книга Филиппа Ефремова «Девятилетнее странствование (1774–1782)»;⁶ ее автор в 1774 г. был захвачен в плен в Оренбургских степях, увезен в Бухару и продан в рабство. Подобное положение на южных рубежах империи сохранялось весь XIX в., причем «количество русских пленников в среднеазиатских государствах, по различным данным, колебалось от нескольких сотен до 140 тыс. человек».⁷ Все эти обстоятельства обуславливали актуальность и достоверность ситуации «степного пленника» в литературе. К теме азиатского степного пленника «подсоединяется» и сюжет о пленниках турецких, ведь Турция по отношению к России всегда выступала как Азия и Восток, традиционный противник славянских народов на протяжении столетий. Сохранились украинские думы о турецком плене, например «Побег братьев из Азова» и «Маруся Богуславка», опубликованные в середине XIX в.⁸

В силу невозможности охватить в статье все поэмы о «пленниках степных», мы остановимся на тех, что непосредственно связаны с Уральским регионом, в основном с Оренбургским краем, граничащим с казахской (киргизкайсацкой) степью. Среди «степных» поэм, особенно близких оренбургской топице, прослеживаются разные виды или типы. Подражание Пушкину в них чаще всего несомненно: оно обнаруживается либо в фабульном строе (молодой герой, томящийся в плену у мусульман, экзотика окружения, юная пери, влюбляющаяся в него и устраивающая ему побег⁹), либо в композиции (обязательное вступление с активной ролью авторского голоса, наличие посвящений, эпилога и т. д.), либо в ритмическом строе стиха (гармонической ладности пушкинской речи в ту пору подражали многие). Среди оренбургских авторов выделяется Александр Крюков, автор поэмы «Каратай», появившейся на самом пике развития русской романтической поэмы — в 1825 г.

Поэма Крюкова представляет собой развернутый монолог главного героя — степного батыра, страдающего от нелюбви прекрасной

пленницы, русской девы. Собственно, субъектов страдания здесь два — это «дева юная», ставшая «жертвой плена» («Ах! Удел такой страшнее / Мрачной ночи гробовой!..»¹⁰), и сам Каратай, гроза степей, который «Мирных пахарей пленил / И Урала брег счастливый / Русской кровью обагрил».¹¹ Автор осуществляет смысловую инверсию: юная пленница «Разум, душу Каратая / Тяжкой цепью обвинила», так что ему, по его словам, «И свобода золотая / ... уж больше не мила!»¹² Возможно, Крюков ориентировался на поэму Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (1821–1823, опублик. 1824), где сила страсти также заставляет хана Гирея занять подчиненное положение в отношении чужестранной пленницы Марии, смиренно ожидающей решения своей участи.¹³ Однако конфликт «гаремной поэмы» (определение В. М. Жирмунского) у Крюкова перенесен на просторы степей: «Сын степей за табунами / С диким криком поскакал, / И под конскими ногами / Топкий берег задрожал!»¹⁴

Отказ от «мужской гегемонии», смена ролей предвещают дальнейшее изменение расстановки фигур в текстах о пленниках (что и совершает, в частности, Лермонтов в поэме «Мцыри»). Но не менее важна историческая, фактуальная основа поэмы Крюкова.¹⁵ Каратай, сын Нурали-хана, был известен в Оренбургском крае своими дерзкими набегами на мирных жителей и на караваны с товарами. Лишь в 1816 г. он обратился через своих людей к оренбургскому губернатору Г. С. Волконскому с просьбой отвести ему место для кочевки на реке Илек, обещая при этом верность и покорность, и выполнил свое обещание. А. Крюков, очевидно, зная эту историю, трансформировал реального Каратая по романтическим канонам — заставил его полюбить русскую пленницу. Но тем самым он создал

¹⁰ Крюков А. Каратай // Вестник Европы. 1825. № 1. С. 8.

¹¹ Там же. С. 10.

¹² Там же. С. 9.

¹³ Скорее всего, Крюков писал поэму независимо от Пушкина: произведение Крюкова датируется 1825 г., т. е. тем же, когда Пушкин опубликовал «Бахчисарайский фонтан».

¹⁴ Крюков А. Указ. соч. С. 14.

¹⁵ См.: Прокофьева А. Г. Оренбургские мотивы в творчестве поэта начала XIX в. А. П. Крюкова // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. ст. по материалам XXXIII междунар. науч.-практ. конф. № 2(33). Часть II. Новосибирск, 2014. С. 94–99. Выражаем свою признательность А. Г. Прокофьевой, указанием которой мы воспользовались. История Каратая была рассказана в публикации: Юдин П. Султан Каратай. (Из истории киргизских волнений в Малой Орде) // Тургайские областные ведомости. Оренбург, 1894. № 36, 37, 39, 40, 46.

⁶ Современное изд. см., напр.: Ефремов Ф. Девятилетнее странствование / под ред., со вступит. ст. и примеч. Э. Мурзиева. Изд. 5-е. М., 1952.

⁷ Россия и степной мир Евразии. С. 382.

⁸ См.: Героический эпос народов СССР: в 2 т. М., 1975. Т. 2. С. 7–15.

⁹ См.: Жирмунский В. М. Указ. соч. С. 239–255.

своего рода мотивировку сближения исторического Каратая с русскими и его покорности русским штыкам: любовь степняка к иноверке, ради которой он готов пожертвовать верой отцов. И неважно, что эта мотивировка не отвечала действительности, зато она соответствовала завоевательным притязаниям русских, демонстрировала мирный способ урегулирования военных конфликтов (усмирения степняков) и предлагала нетривиальный путь гендерного разрешения коллизии (моральная высота юной девы над степным батыром). А кроме того, субъектом речи в поэме выступал сам степняк — однозначно «другой» в системе русских ценностей, наделенный, тем не менее, и голосом, и способностью к сложным душевным переживаниям. Таким образом, поэма А. Крюкова, наряду с другими поэмами-монологами и исповедями 1820–1830-х гг. («Чернец» Козлова, «Нищий» Подолинского и др.), выполненными от лица «другого» — отнюдь не «русского европейца», каким был герой пушкинского «Кавказского пленника», открывала путь к венчающей традиции поэме Лермонтова «Мцыри», да и не только к ней.

В середине 1820-х гг., в период расцвета романтической поэмы, формируется и романтическая повесть, причем в ряде случаев ее можно рассматривать как своего рода «отпочкование» романтической поэмы, с которой она была связана и содержательно, и стилистически и с которой часто отождествлялась в плане тогдашних жанровых дефиниций: они нередко имели один и тот же подзаголовок — «повесть».¹⁶

В «Отечественных записках» П. П. Свинына в 1826 г. была опубликована повесть П. М. Кудряшева «Киргизский пленник. (Быль Оренбургской линии)». Как мы полагаем, именно она, наряду с «Каратаем» Крюкова, стоит у начала перевода кавказской темы в тему степную, киргизскую («киргиз-кайсацкую», на языке того времени), ставшую наиболее актуальной для отечественной литературы в ее романтическом изводе со второй половины 1820-х гг. В поэме «Каратай» особых примет степной жизни Урала крайне мало, основное внимание автор обращает на сферу чувств ге-

роя, образ которого дан в действии лишь в финале. «Киргизский пленник» Кудряшева также содержит родовые приметы романтической поэмы, но вместе с тем, в соответствии с подзаголовком («быль»), в тексте есть множество маркеров достоверности, обнаруживающих ориентацию автора на «первореальность», и потому в совокупности нарратив повести образует своеобразный гибрид, помещаясь между поэзией и прозой.¹⁷

Об учете автором поэтической, романтической и даже еще сентименталистской традиций свидетельствует введение, где автор предается печальной медитации на тему быстротечности счастья и молодости, однако он в то же время довольно точно живописует место действия: «Верхнеуральск, составляя пограничную крепость, принадлежит к числу уездных городов Оренбургской губернии; ... Немногие крепости, немногие города могут похвалиться таким прекрасным местоположением, какой имеет Верхнеуральск, стоящий на левом, крутом берегу быстрого Урала»¹⁸ и т. д. Дальнейший рассказ о пленнике также представляет собой сочетание перипетий, известных нам по романтической поэме, и вполне прозаических подробностей из жизни киргизских племен, а кроме того, чисто фольклорных фрагментов, например описания боя казаков и киргизов («Началась ужасная битва: засвистели пернатые стрелы, зазвучали булатные копья, зажужжали свинцовые пули...»¹⁹). По-видимому, ряд бытовых и геополитических деталей в описании фабулы «степного пленника», переходящих из произведения в произведение, был связан с самим предметом изображения — противостоянием двух миров — степного (азиатского, кочевого) и русского (оседлого, но в условиях пограничных линий вынужденного «равняться» на своих противников и учиться у них мобильности). Так, во многих нарративах говорится о долгом пути «киргизцев» с пленником в их становище, о смене лошадей в дороге, о переправе через реки, чтобы не оставлять следов, о жестоком

¹⁶ Термин «романтическая поэма» В. М. Жирмунский употреблял «как технический... для обозначения нового жанра», введенного в употребление Байроном и Пушкиным. В таком значении он появляется и в критике 1820-х гг. — в противоположность поэме «классической» или «героической». См.: Жирмунский В. М. Указ. соч. С. 238, 239.

¹⁷ Повесть Кудряшева в контексте всего творчества автора была проанализирована нами, см.: [Созина Е. К.] Романтическая поэма в творчестве оренбургского поэта П. М. Кудряшева // Эволюция жанров в литературе Урала XVII–XX вв. в контексте общероссийских процессов. Екатеринбург, 2010. С. 143–164. Здесь мы ограничиваемся аспектом, необходимым в ракурсе рассматриваемой темы.

¹⁸ Кудряшев П. Киргизский пленник. (Быль Оренбургской линии) // Отеч. зап. 1826. Ч. 28, № 79, ноябрь. С. 273.

¹⁹ Там же. С. 277.

обращении хозяев с пленными. Все эти «прозаизмы» обычно отсутствовали в романтических поэмах, они появляются в произведениях именно «былевой» установки, какая и была у повести Кудряшева.

Повесть Кудряшева послужила опорой другим произведениям той же тематики. В поэме («повесть в стихах») Н. Муравьева «Киргизский пленник» в подзаголовке сказано: «Взята с истинного происшествия Оренбургской линии».²⁰ Муравьев перелагает стихами, заметно сокращая оригинал, сюжет повести Кудряшева, используя те же имена героев: казака-«уральца» тоже зовут Федором, девушку-«киргизку», влюбившуюся в казака и ставшую его спасительницей, — Баяной, ее отца — Кутлубаем. В общих чертах сохраняется фабула поэм о «пленнике», которой следовал и Кудряшев. Если «фактура» поэмы заимствована у Кудряшева, то поэтическая часть и композиция — у Пушкина, ставшего, как прекрасно показал В. М. Жирмунский, образцом для многих эпигонов. Этот факт характеризует своего рода кумулятивное (по принципу накопления) развитие литературного процесса. Литература осваивает новую содержательность сначала в той жанровой форме, которую предложил «генератор» (для отечественной словесности — Пушкин), но на «периферических» участках литературы (какова, например, степная тематика) образуется свое движение и свой, хотя и вторичный, автор-«генератор» (по-видимому, им на какое-то время стал Кудряшев, хотя, скорее всего, не он один).

«Каратай» А. Крюкова и «Киргизский пленник» П. Кудряшева / Н. Муравьева являются собой два вида романтической поэмы о степном пленнике — поэму-исповедь или монолог с минимальным числом действующих лиц (у Крюкова их двое), сориентированную на лирико-драматическое единство, и фабульный нарратив с развернутой картиной жизни степняков, с эпическим сюжетом, часто вытесняющим образ страдающего героя. Именно второму типу романтической поэмы-повести было суждено будущее: сюжетное пространство разворачивающейся фабулы о пленнике,

подобно киргизской степи, поглотило монолог тоскующего героя.

Соревноваться с В. М. Жирмунским, обнаружившим более 150 поэм о пленниках в русской печати 1820–1830-х гг., не представляется возможным. Упомянем еще лишь Ольгу Крюкову, автора сюжетной поэмы «Донец» (1833)²¹ с темой любовного соперничества в центре и отрывка из поэмы «Илецкий казак» (1832),²² где дано краткое описание Илецкой Защиты — одной из опорных крепостей Оренбургской линии. Несколько раньше поэмы «Донец», в 1833 г., была напечатана поэма П. Родивановского «Пленник»²³, герой которой — молодой *донец*, оказавшийся в плену у турок и там нашедший свою любовь — прекрасную гречанку. Донец действует и в поэме Крюковой. По типологии героев оба произведения можно отнести к «казачьим» поэмам, но фабула пленника в них доминирует. Переключка номинаций персонажей еще раз показывает, в каком «тигле» второ- и третьесортной массовой литературы переплавлялась байроническая пушкинская поэма, с какой легкостью происходило заимствование авторами различных деталей, типажей, перипетий поэмы, популярной в те годы.

Романтический извод дискурса «степных пленников» завершает, насколько мы можем судить, поэма «Киргиз» (1842) Густава Зелинского, польского поэта, сосланного в Тобольск, а затем в Ишим.²⁴ Хотя автора также «уличали» в подражании Пушкину, его произведение отличается наибольшей оригинальностью и художественным совершенством в сравнении с другими романтическими поэмами степной, казачьей и даже турецкой тематики. По-видимому, в немалой степени это было связано с искренней симпатией польских повстанцев, попавших в казахские степи, к их коренным обитателям, называвшимся в ту пору «киргизами». Герой поэмы — молодой киргиз, бежавший из постылого рабства в вольные степи. Парадокс состоит в том, что в рабстве он пребывал в тех же степях,

²¹ Крюков О. Донец. Повесть в стихах / соч. Ольги Крюковой. М., 1833.

²² Крюкова О. Отрывок из повести: Илецкий казак // Дамский журн. 1832. № 46, ч. 40. С. 108–110.

²³ Родивановский П. Пленник / Соч. П. Родивановского. СПб., 1832.

²⁴ Густав Зелинский (1809–1881) поддерживал польских повстанцев, после ареста и суда 1 сентября 1834 г. прибыл в Тобольск, где прожил почти год. 25 июля 1835 г. его перевели в Ишим, где он находился по 1842 г. См.: Одровонж-Пенёжек Я. Пушкин и польский романтик Густав Зелинский // Пушкин: исслед. и материалы. М.; Л., 1958. Т. 2. С. 362–368.

²⁰ Муравьев Н. Киргизский пленник, повесть в стихах: (Взята с истинного происшествия Оренбургской линии). М., 1828. Разбирая фабулу «пленника», В. М. Жирмунский неоднократно упоминает в качестве «классического» массового образца именно поэму Н. Муравьева. Между тем, как показали мы в своих работах и о чем говорим выше, поэма Муравьева не просто вторична, но прямо подражательна, что называется, списана с повести Кудряшева.

поскольку когда-то был продан степняком, убившим его отца, заезжим купцам, и степь не покинул, хотя испытал весь гнет неволи:

«Будет! — пожил в неволе...
Тут не вынести доле, —
Здесь угрюмо и мрачно, как в склепе...
Здесь не жизнь, а доука!..
Гей!.. там счастьем порука —
Воздух пьяный и вольные степи.
Там отары бессчетны
Я стерег. Мимолетны
Ветерки ездока обведали...
Синь росла надо мною...
Степь сияла росой...
Там — и жизнь, где мне жизнь мою дали!»²⁵

Судьба жестока: сбегав из неволи, герой спустя несколько дней пути натывается на аул богатого Бия, где его встречают как гостя, а пылким взором юноши отвечает прелестная Демела, дочь Бия. Однако ночью он узнает, что Бий — его кровный враг, когда-то убивший его отца и всех родных и продавший его самого в рабство. Две страсти раздирают душу героя: «Манят пришельца, точно напасти / Два помышленья, два наущенья: / К дьявольской цели — мысль об отмщенье, / Мысль о любви — к сладостной страсти».²⁶ Но через гадание шамана и Бий узнает, кто таков его гость, и готовит свой план расправы с юношей. Пленнику удается бежать, причем вместе с Демелой, однако отец девушки велит поджечь степь, так что в итоге огонь настигает беглецов.

Своеобразие поэмы «Киргиз» не только в ее сюжете (отметим, что молодой киргиз — «чужой среди своих», пленник в родной степи), но и в живописной картине степи, предстающей взору «пленника». «Нет! Чтобы степи близкими стали, / Надо жрецом быть этой святыни! / Надо родиться сыном пустыни!»²⁷ Образы степного мира даны в восприятии героя, а его мысли и чувства — в речи повествователя, в результате образуется единый поток повествования, в котором границы объективного мира и внутреннего мира субъектов смещаются, как это могло бы быть в бескрайней степи с ее маревом и дурманящими запахами. Эпическая широта и простор степного мира обрамляют и «снимают» трагедию людей, поскольку обновление природы вечно:

«И дошло до них пыланья море... / И — прошло... И над равниной тою / Тишина теперь... А степь травой / Пышною зазеленела вскоре».

Поэма Зелинского создавалась тогда, когда романтическая поэма уступала место прозаическим жанрам, в первую очередь повести. Начиная с середины 1830-х гг. прозаический нарратив о степных пленниках активно публикуется в периодической печати, причем активно используется форма повествования от первого лица — рассказ пленника. Одним из первых сказовую форму применяет В. И. Даль в «Рассказе пленника Федора Федоровича Грушина» (1838) и «Рассказе русского пленника из Хивы, Якова Зиновьева» (1838).²⁸ В сущности, оба произведения идентичны, поскольку в том и другом случае в плен к туркменам попадает молодой русский астраханец, рыбабивший на Каспийском море. Те продают его в Хиву, в итоге разнообразных перипетий он оказывается в услужении у хана. Федор Грушин пользуется расположением последнего, сльвя силачом; Яков Зиновьев живет гораздо хуже, работая в поместье хана (даже ханши), но каждый из них стремится на родину и совершает ряд неудачных побегов, пока, наконец, им не удастся попасть к киргизам (в случае Зиновьева — к бухарцам), которые, выполняя договор с русскими, отпускают их в Россию.

Прибавим к этому рассказ казачьего атамана С. Н. Севастьянова «Иван Васильевич Подуров»,²⁹ где, со слов самого героя, в будущем наказного атамана Оренбургского казачьего войска, рассказывается о его четырехмесячном пребывании в плену у киргизов, откуда ему удалось выбраться благодаря заботе начальства: Подуров был обменен на пленного киргиза, важного для его сородичей.

Далее в наш контекст входит «Киргизский пленник, или Взгляд на линию за 22 года»³⁰

²⁵ Зелинский Г. Киргиз: повесть // Польская романтическая поэма XIX века: пер. с пол. М., 1982. С. 273.

²⁶ Там же. С. 285.

²⁷ Там же. С. 276.

²⁸ Даль В. Рассказ пленника Федора Федоровича Грушина // Литературное прибавление к «Русскому инвалиду». СПб., 1838. № 5. 20 янв. С. 81–86; Луганский В. Рассказ русского пленника из Хивы, Якова Зиновьева // Санкт-Петербургские ведомости. 1839. № 22, 23, 24. Републикацию первого текста см.: Неизвестный Владимир Иванович Даль. Оренбургский край в очерках и научных трудах писателя. Оренбург, 2002. С. 135–151.

²⁹ Севастьянов С. Н. Иван Васильевич Подуров. Историко-биографический очерк // Гостинный двор: Литературно-художественный и общественно-политический альманах. Оренбург, 1999. С. 190–205. Первая публикация рассказа была в газете «Оренбургский листок», 1892.

³⁰ Киргизский пленник, или Взгляд на линию за 22 года // Оренбургские губернские ведомости. 1851. 5, 12 мая. См. также публикацию повести М. Родновым: Бельские просторы. 2012. № 11 (168), ноябрь. URL: http://bp01.ru/public.php?public=2659&sphrase_id=18208 (дата обращения: 15.12.2015).

Василия Зефирова (1851), где в плен попадает священник Орской крепости Иван Гаврилович Рязанов. Освобождают его по требованию губернатора, поскольку его хозяин принадлежал к орде, находившейся в зависимости от русского правительства.

Наконец, в этом же дискурсе большая повесть Иоасафа Железнова «Василий Струняшев» из 2-го тома его сочинений «Уральцы. Очерки быта уральских казаков» (1858). Герою этой повести пришлось пробыть в плену у киргизов более 10 лет, и он единственный, кто смог самостоятельно бежать из плена и добраться до Илецкой Защиты.

Все эти тексты, претендующие на статус художественной литературы, хотя и имеющие безусловную достоверную основу, окружают контекст «наивных нарративов» о казачьей жизни, где сюжеты степного плена, стычек казаков с киргизами и пр. занимают немалое место. Таковы, например, «Записки Н. В. Агапова»,³¹ автор которых служил в Оренбургском казачьем войске с 1839 по 1883 г. В его записках мы найдем немало эпизодов, связанных с пленением казаков киргизами.

Выделим общие черты обозначенных текстов, имея в виду, что сюжет «степных пленников» в прозе середины и второй половины XIX в. знаменует ряд важных моментов в развитии русской словесности и продвигает вперед саму тему степного плена по сравнению с романтической поэмой.

«Киргизский пленник» Кудряшева, а также рассказы Даля занимают переходное место, от романтического типа художественности к реалистическому. В. Даль переводит устную речь в литературный нарратив, используя богатые возможности сказа (в этом его отличие от С. Севастьянова, который пытался оформить свой рассказ по правилам «литературы» ушедшей эпохи). Он создает образ «простого человека» как с помощью бытовой речи рассказчика, так и используя фольклорные детали и сцены (например, борьба Федора Грушина с хивинским силачом, которого он побеждает; аналогичный эпизод встречаем в записках Н. В. Агапова и др.). Сказ Даля в тот период выполнял в литературе примерно те же функции, что и ролевая лирика — в поэзии М. Лермонтова, А. Кольцова: через них осуществлялось введение в литературу образа «другого» — че-

ловека не просто иного сословия, но иного этнического мира, иного типа сознания.

Тематически дискурс «степных пленников» связан с казачьим сословием и непосредственно вытекает из конкретных реалий исторической действительности — того, как протекала охрана южных территорий России на границе с азиатскими племенами (жузами). Однако эти же тексты позволяют выявить и влияние литературы на восприятие и осмысление реальности как наивными авторами, так и авторами образованными. В частности, рассказ о пребывании в плену Ивана Васильевича Подурова в передаче С. Н. Севастьянова учитывает имевшиеся на ту пору нарративы о пленниках: кроме жестокого обращения с ними киргизов здесь в зачатке присутствует и ситуация любви пленника и хозяйской дочери. Обычно девушка помогает пленнику бежать (этот поворот сюжета был разработан еще Ф. Ефремовым, А. Пушкиным, а потом использовался другими авторами, в частности оренбуржцем П. Кудряшевым). Подуров отказывается от услуг своей возлюбленной и предпочитает менее романтический, но и более надежный вариант выхода из плена. Не исключено, что ситуация любви пленника и прекрасной «киргизки» (черкешенки, татарки, гречанки и т. д.) возникла в действительности, но только в условиях относительно привилегированного положения русского, что случалось крайне редко.

Сюжет степного плена воссоздан наиболее пространно, со множеством этнографических деталей и чисто бытовых подробностей из жизни обитателей степи в повести И. И. Железнова «Василий Струняшев». Особое место занимает в ней любовная история, на которой мы остановимся чуть подробнее. Удалой казак Василий попадает в плен к степнякам из-за предательства киргиза, бывшего у него в услужении. Он сполна изведал всю тяжесть плена, и наконец, когда его хозяин, решив продать пленника, пускается с ним в путь, Василию удается убить киргиза. Но бегство в степи, без коня — предприятие безнадежное, и казак вновь попадает в плен, однако на сей раз к более мягкому степняку. Тот отдает Василию в услужение одной из своих жен, и спустя время (когда «ходжа» увлекается новой женой) наш герой становится ее любовником. Более того, в своей хозяйке он узнает киргизскую девушку, которую любил в юности и на которой едва не женился. Жизнь оказывается хитрее и коварнее литературных вымыслов, и

³¹ Записки Н. В. Агапова: из походной жизни оренбургских казаков. Научная публикация и исследование текста. Оренбург, 2013.

поворот сюжета, описанный Железновым, мы не встретим в романтических поэмах. Дальнейшие события происходят уже совсем не по романтической логике: любовь киргизки скоро приедается Василию, он мечтает о родине, тем более что «ходжа», обещавший освободить его, умер, так что «Струняшев остался в полном и безусловном распоряжении своей полудикой любовницы, не знавшей меры ни в любви, ни в мести».³² Только благодаря помощи русского пленника Федора, давно живущего в ауле, Василию удается осуществить побег.

Заметим, что в повести Железнова, разворачивающейся по неспешному эпическому сценарию, вводится дополнительный мотив степного пленника. По сложившемуся стереотипу, все пленники обычно тоскуют по родине, претерпевают бедствия и стремятся бежать из плена, используя для этого любую возможность. Однако степной русский друг Василия отказывается последовать за ним, поскольку здесь, в ауле, у него семья: «Тебе, Василий Иваныч, можно, но мне никак нельзя. Посмотри-ка, сколько у меня ребятишек. Хоть они и басурманы, но все-таки мои дети, я крепко люблю их и никогда не могу покинуть; нет сил оторваться от них — ведь дети они! <...> Поздно мне возвращаться на Русь святую: от нее и от всего русского я отстал; ...а куда я теперь похужу на старости лет?»³³ И в этой преданности казака Федора своей семье, в ответственности за жизнь детей — существенное отличие его от героя повести Н. С. Лескова «Очарованный странник». Для степного пленника Ивана Северьяновича Флягина, у которого среди «татар» и жены завелись, и дети, это не препятствие к тому, что бы бросить все и бежать на родную сторону.³⁴ Образ железновского Федора находит некоторое соответствие в народных песнях: например, в украинской думе «Маруся Богуславка» героиня выпускает на

волю пленных казаков, а сама остается в Туретчине.³⁵ Так происходит обогащение мотива новыми деталями, трансформация его в новые сюжеты, где литература «перекликается» с действительностью.

Все перечисленные тексты написаны с позиции русского человека и выражают его точку зрения на другой мир, в плен к которому он попадает. Перехода на точку зрения степняков здесь нет, за исключением упоминавшейся выше поэмы Г. Зелинского «Киргиз», где присутствует хотя бы попытка изнутри дать образ «инога». Более того, в текстах соблюдаются основные правила колониального дискурса. Особенно очевидно это в повести И. Железнова и в очерке В. Зефинова. В последнем отчетливо выражена оппозиция: автор и его герой — представители одной стороны, располагающейся «на правом берегу Урала», это «могущественная Россия, страна самодержавия..., заключающая в себе прочное благосостояние нравственных и политических сил своих»; «на другой — киргизская степь, страна разъединенной воли народа, без всяких законов, без всякого образования, почти без религии, без сил самосохранения, грубая, буйная, оборванная по наружности и ничтожная внутри».³⁶ Если на стороне России закон, порядок, цивилизация, то у степняков торжествует дикость, вражда, «нищенствующий разбой». Еще более грубый портрет киргизов дан в повести Железнова: они мстительны, жестоки, коварны, лживы, склонны к предательству. У них, по сути, нет отечества, и сами они «полулюди, полужвери».³⁷ Надо сказать, что сравнение кочевников (как, впрочем, и любых народов, живущих первобытной жизнью), с животными довольно часто встречается в произведениях того времени, что позволяет соотнести их с ориенталистской литературой Запада, рассмотренной Э. Саидом.³⁸ Даже любовная история, пережитая Василием Струняшевым в последние годы своего пребывания в плену (любовь к жене киргизского ходжи, на которой он когда-то едва не женился), характеризует его с положительной стороны

³² Железнов И. Василий Струняшев // Железнов И. Уральцы: очерки быта уральских казаков. М., 1858. Ч. 2. С. 271.

³³ Там же. С. 262.

³⁴ А. Эткинд, вопреки традиции русского литературоведения, снисходительно относящегося к жизненному пути и особенностям личности героя Лескова, выделяет такие его черты, как «несдержанная сила, причудливая религиозность, аморальная спесь, глубокий контакт с животными и нехватка человечности» (Эткинд А. Указ. соч. С. 350). Однако, если судить по повестям И. Железнова, В. Зефинова и др. писателей-реалистов этого времени, близко подходивших к «первореальности», русский человек, да еще проживший всю жизнь в степи, казак, и был таковым — настоящий «продукт природы» и особой степной цивилизации. На ином материале эту тему поднимал М. Лермонтов (очерк «Кавказец», глава «Максим Максимыч» из романа «Герой нашего времени» и др.).

³⁵ Справедливости ради следует сказать, что мотивы героини народной думы иные, чем у железновского Федора: «Отуречилась я, обасурманилась / Ради роскоши турецкой, / Ради лакомства несчастного!». (Маруся Богуславка // Героический эпос народов СССР. С. 15).

³⁶ Киргизский пленник, или Взгляд на линию за 22 года. URL: http://bpo1.ru/public.php?public=2659&sphrase_id=18208 (дата обращения: 15.12.2015).

³⁷ Железнов И. Указ. соч. С. 189.

³⁸ Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006.

(ибо для него это «оковы постылой и грешной любви»), а ее — с негативной. В конце повести автор вполне солидаризуется со своим героем, много лет пробывшим в плену у степняков и возненавидевшим их лютой ненавистью. Таким образом, повесть Железнова является наиболее репрессивной в дискурсе «степных пленников», что связано с казачьей средой, родной для автора, представлявшей и наиболее консервативную часть населения России, и ее передовой отряд на границе с Азией, более всего страдавший от набегов немирных кочевников.

В целом же, дискурс «степных пленников» интересен тем, что он наглядно отражает взаи-

модействие двух сторон, представленных в произведении, — самой действительности, жизни, без которой текст вряд ли возможен, и литературной условности, вымысла, которого не избегает любой, даже самый правдивый художник. По мере изменения литературных конвенций меняется и дискурс: с середины XIX в. в нем возрастает доля документальности, он подключается к корпусу «народознания» и формирующейся внутри него этнографии, но вместе с тем он начинает играть более активную роль в формировании официальной идеологии России и реализации ею своих имперских амбиций.

Elena K. Sozina

Doctor of Philological Sciences, Institute of History and Archaeology, Ural Branch of the RAS (Russia, Ekaterinburg)

E-mail: elenasozina1@rambler.ru

“STEPPE PRISONERS” DISCOURSE
IN THE RUSSIAN LITERATURE OF THE 19th CENTURY

The article studies the evolution of the “steppe prisoner” topic in the Russian literature of the 19th century — from romantic poems and stories of the 1820–1830s to the prosaic narrative of the second half of the century. The author analyzed the works of the so-called second tier writers generally perceived as the popular version of romanticism or fiction texts. The author presumed that the genre of romantic poem in Russia performed important extra linguistic functions: it was the source of information about the unknown territories of the Empire, existed and developed within the trend of “internal colonization” of the country (the term belongs to A. Etkind), and supported the geopolitical interests of the Empire. The study identified two types of the phenomenon manifestation — lyrical monologue of the hero (“Karatai” by A. Kryukov) and the story-line narrative with an extended epic plot (“The Kirgisian Prisoner” by P. Kudryashev, “The Kirgis” by G. Zelinsky, etc.). The poem of the second type later developed into a genre of a “steppe prisoner” story — the genre often used by V. Dahl, N. Leskov, I. Zhelesnov, V. Zefirov, etc. whose works became the object of analysis in the article. The double nature of relationship between life and literature was established: real life events of steppe imprisonment formed a basis for the literary discourse about prisoners, however the already established in fiction texts standard story pattern, and the very popularity of the topic continued to attract new authors and predetermined the treatment of the subject according to accepted popular model.

Keywords: *romantic poem, fiction, genre transformation, standardization of plot, theme, motif, literary geopolitics*

REFERENCES

- Chernyavskaya V. Ye. *Lingvistika teksta. Lingvistika diskursa* [Text linguistics. Discourse linguistics]. Moscow: Flinta: Nauka Publ., 2014. 208 p. (in Russ.).
- Etkind A. *Vnutrennyaya kolonizatsiya. Imperskiy opyt Rossii* [Internal colonization. Imperial experience of Russia]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2014. 448 p. (in Russ.).
- Geroicheskiy epos narodov SSSR* [Heroic epos of the people of the USSR]. vol. 2, Moscow: Khudozhestvennaya literature Publ., 1975. 576 p. (in Russ.).
- Prokofeva A. G. *Orenburgskie motivy v tvorchestve poeta nachala KhIKh v. A. P. Kryukova* [The Orenburg motives in works of the poet of the beginning of the XIX century A. P. Kryukov]. V mire nauki i iskusstva: voprosy filologii, iskusstvovedeniya i kulturologi: sb. st. po materialam XXXIII mezhdunar. nauch.-prakt. konf — In the world of science and art: questions of philology, art criticism and culturologists: the collection of articles on materials XXXIII of the international scien. and practical conf, no. 2 (33). Pt. 2. Novosibirsk: «Sibak» Publ., 2014, pp. 94–99. (in Russ.).

Rossiya i stepnoy mir Yevrazii: ocherki [Russia and steppe world of Eurasia: sketches]. St. Petersburg: Izd-vo St.Peterburgskogo Uni. Publ., 2006. 432 p. (in Russ.).

Said E. Orientalizm. Zapadnye kontseptsii Vostoka [Orientalism. Western concepts of the East]. St. Petersburg: «Russkiy mir» Publ., 2006. 638 p. (in Russ.).

Sevastyanov S. N. Ivan Vasilevich Podurov. Istoriko-biograficheskiy ocherk [Ivan Vasilyevich Podurov. Historical and biographic sketch]. Gostinyy dvor: Literaturno-khudozhestvennyy i obshchestvenno-politicheskiy almanakh — Gostiny dvor: Literary and art and political almanac. Orenburg: Orenburgskoe kn. izd-vo Publ., 1999, pp. 190–205. (in Russ.).

Sozina E. K. Romanticheskaya poema v tvorchestve orenburgskogo poeta P. M. Kudryasheva [The romantic poem in works of the Orenburg poet P. M. Kudryashev]. Evolyutsiya zhanrov v literature Urala XVII–XX vv. v kontekste obshcherossiyskikh protsessov — Evolution of genres in literature of the Urals of the XVII–XX centuries in the context of the all-Russian processes. Ekaterinburg: UrO RAS Publ., 2010, pp. 143–164. (in Russ.).

Sozina E. K. Stepnye plenniki. Literaturnaya universal'ya i ee faktual'naya kontekstnost v otechestvennoy slovesnosti pervoy tretyi XIX veka [Steppe captives. A literary universal'ya and its faktualny kontekstnost in domestic literature of the first third of the XIX century]. Kormanovskie chteniya: stati i materialy mezhdvuz. nauch. konf. — Kormanovsky readings: articles and materials interhigher education institution. scien. conf.. Izhevsk: Udmurtskiy Uni. Publ., 2011, pp. 35–46. (in Russ.).

Zhirmunskiy V. M. Bayron i Pushkin [Byron and Pushkin]. Leningrad: Nauka Publ., 1978. 424 p. (in Russ.).

Zapiski N. V. Agapova: iz pokhodnoy zhizni orenburgskikh kazakov. Nauchnaya publikatsiya i issledovanie teksta [N. V. Agapov's notes: from a camp life of the Orenburg Cossacks. Scientific publication and research of the text]. Orenburg: Laboratoriya narodnoy kultury Magnitogorskogo gos. universiteta; Orenburgskiy filial RANHiGS Publ., 2013. 368 p. (in Russ.).